

Мне противно смотреть
На блаженство других,
И в мучениях злых
Не сгораючи тлеть¹⁶.

Обращаюсь к Мишелю. Вот причина, почему мы отрицали в нем задушевность и теплоту. И в самом деле, то и другое не всегда присутствует в нем, потому что возня его с самим собою, как и следует, захватывает большую часть его времени. Но когда он бывает ровен с самим собою, — это человек насквозь теплый, насквозь светлый, в высшей степени задушевный, любящий, готовый принять в другом всё участие, какого только можно желать. А что он умеет любить глубоко и горячо, этому лучшее доказательство — я: кто больше меня ругал и оскорблял его, к кому больше меня бывал он несправедливее — и что же? — где бы он ни явился, с кем бы ни познакомился, там и тот уже знает Белинского. Заикин и все прочие сто раз уж говорили мне — как он любит вас! И изо всего видно, что он любит меня, часто вопреки себе, именно за то, за что напал на меня, что составляет нашу противоположность. Погладь его за это по курчавой голове — право, он очень не глуп, как я начинаю уверяться. А сколько глубины, сколько инстинкта истины, какое сильное движение духа в этом шуте! Я немного побыл с ним в Питере, но много узнал от него нового, много уяснились мне и собственные мои идеи. Это один человек, с которым побыть вместе значит для меня — сделать большой шаг вперед в мысли — дьявольская способность передавать! Да, я вновь познакомился с М<ишелем> и от души, как друга и брата, обнимаю его на новую жизнь и новые отношения.

Ну, да довольно о нем — не всё говорить о пустяках, надо и дела не забывать <...>.

Письмо М. А. Бакунину

СПб. 1840, 26 февраля

Письмо твое, любезный М<ишель>, произвело на меня именно такое действие, которое ты предсказал в письме З<аикин>у. Оно еще на несколько лет отдалило меня от знания (если предположить — хоть для шутки, — что знание когда-нибудь должно быть

моим уделом), усилив во мне мою ненависть к знанию, как сушить-не жизни. От души пожалел о так много потерянном времени и потерянном труде. Я прочел в твоём письме то же самое, что привык читать в твоих письмах с 1836 года и что и тогда так мало убеждало меня, а теперь еще менее способно убедить¹. Вообще, теперешнее время чрезвычайно трудно для убеждения — всякий хочет жить своим умом и требует любви, сочувствия и сострадания, а не советов. Сколько переписал к тебе я писем: за истину моей последней и самой отчаянной полемической переписки² с тобою я и теперь стою, как за то, что $2 \times 2 = 4$, а не 5, и эти письма были писаны моею кровью — свежее и горячее кровью, — а между тем ты сам знаешь, до какой степени убедили они тебя. Мне и теперь жаль потерянного времени, потерянной желчи, потерянной крови и потерянной души: из всех них только желчь еще не совсем была потеряна, потому что ты осердился — бедный результат! С тех пор я отказался от права учить других — особенно на письмах, — и очень жалею, что несколько неосторожных выражений в письме к Б<откину>, враждебно сорвавшихся с пера моего, зацепили твое самолюбие и заставили тебя так бесплодно потерять несколько часов на твое длинное и сухое письмо³. Оно на несколько дней повергло бы меня в жесточайшую апатию и усилило бы дряблость и болезненность моего искаженного и исказенного духа, если бы я до сих пор не был полон письмами Б<откина>, живыми, любовными, елейными и — что всего для меня бесценнее — чуждыми ненавистной мне философии, говоря поэтическим языком, и резонерства, выражаясь смиренною прозою.

Да, М<ишель>, пора нам убедиться в том, что мы плохо понимаем друг друга и что пора нам оставить друг друга в покое. Слияние невозможно для нас, действовать один на другого мы уже не можем ни положительно, ни отрицательно. Я уважаю тебя: говорю тебе это искренно, но я не люблю тебя, ибо мне *ненавистен* образ твоих мыслей и еще *ненавистнее* его осуществление. Это странное признание имеет целию не оскорбление тебя: прими его, как знак моего уважения к тебе: во всяком случае, ты человек благородный, я не могу играть с тобою комедии и хочу, чтоб ты не обманывался насчет твоих ко мне отношений. Я всегда и везде встречаю тебя с удовольствием, и мимолетная встреча с тобою всегда будет мне отрадна; мне будет о чем от души поговорить с тобою: у нас так много общих воспоминаний и общих предметов любви. Увидя тебя в беде, я не отдам тебе последней рубашки, как ты мне, но охотно (не по долгу, а по влечению сердца) поделюсь с тобою возможным, не спрашивая тебя о причине беды и даже зная, что она — именно

то, что с особенною яростию ненавижу я в тебе. Но здесь и конец. Я знаю в тебе много хорошего и подозреваю теперь, что еще многого не знаю такого, чего ты не можешь выговорить, и что заставляют от меня твои дурные стороны. Поэтому ты прав, говоря, что я тебя не знаю, но и я буду совершенно прав, сказавши тебе, что и ты не знаешь меня. Да, ты не знаешь меня, ни моих требований, ни моих истинных ран, ни моих истинных радостей. Ты знаешь во мне человека А, В, С, D и т. д.; но ты не знаешь человека Виссариона, — и Виссарион никогда не примет от тебя ни совета, ни утешения, и никогда не даст тебе ни того, ни другого. Так говорит моя несчастная действительность: надо покориться ей. Представляю тебе несколько доказательств того, что ты жестоко заблуждаешься, думая, что хоть сколько-нибудь знаешь и понимаешь меня.

С чего ты взял, что до отъезда в Прямухино⁴ я бредил <...>⁵ служить, но не для статского советника, не для денег, а для того, чтобы на вопрос ундера на заставе не ответить ему: homo sum!⁶, а сказать, что я чиновник 14 или 12 класса и служу там-то. Не худо при этом иметь и маленькое обеспечение, которое не допустило бы меня умереть, как собаке, во время болезни. Стыдно, М<ишель>, прибегать ко лжи для поддержания своей истины. Или истина-то не совсем истинна?.. А что я сказал, что время для службы ушло — и то правда, ибо, благодаря *идеальности*, я уже не способен ни к какому делу, ни к каким объективным обязанностям. А ты еще спрашиваешь, выучился ли я по-немецки. Выучился!..

С чего ты взял, что я рожден для знания? Кто для чего рожден, то того и достигает. Наука не для меня. Я *дилетант*. У меня есть нечто общего, родного с немцами и даже с их рефлектированной поэзией; но греческий и английский языки (если б их можно было как-нибудь, не учась, узнать) дали бы мне кое-что посущественнее немецкого: я бы читал Гомера и Шекспира⁷.

С чего ты взял, что моя действительность — пошлая, повседневная, грязная и до того несчастная, что над нею даже мальчики подсмеиваются?⁸ Правда, моя действительность — не твоя, но из этого еще не следует, чтоб она была такая, какою ты ее описываешь. Раны моего сердца, истекающего живою, горячею кровью, свидетельствуют, что ты *лжесвидетельствуешь на ближнего*. Ты хоть бы спросил у Б<откина>: он сказал бы тебе, до какой степени я примирился с повседневною действительностью. Если восставать на претензии, на ходули, на наклепанную на себя любовь и другие наклепанные чувства, на благородную привычку жить на чужой счет, бросать бисер перед свиньями и толками о философии возбуждать во всех ненависть и отвращение к философии; если на-

падать на выход женщин из непосредственности женственной в мужскую рефлексию, нападать на неестественные, магнетические и сомнамбулические связи и отношения, нападать на возвешение о благих, но никогда не выполняемых намерениях (как, например, об изучении немецкого языка), словом, если нападать на леность и бездействие, утешающие себя звонкими фразами духовных моментов, высшей цели, высшего назначения, на дряблость, болезненность, гнилую рефлексию и пр., и пр., если нападать на всё это, — значит нападать на *идеальность*, — я нападаю на нее и предпочитаю ей самую ограниченную действительность и полезность в обществе. *Чацкие* всегда будут смешны для меня, и я буду делать их смешными для многих, не заботясь, что мой приятель примет эти нападки за личность и оскорбится ими. Что такое Чацкий?⁹ Человек, который мечтает о высшей любви, а любит <...> который всех ругает за бездействие, а сам ничего не делает, который сердится на действительность, которая в его глазах скверна тем, что русские XIX века бреют бороды и ходят во фраках, что они не подражают китайцам в незнании иноземщины, который говорит о прекрасном и высоком со скотами и пр. и пр. Как же на таких шутов не нападать? Они первые враги всякой разумности, всякой истины¹⁰. Но скоты всегда останутся для меня скотами, и у меня с ними никогда общего ничего не будет. Если они без претензий, я стараюсь быть к ним по возможности терпимым; если они с претензиями (как, например, семинарист-Хлестаков, дурак, осел и скот Благосердов или Добронравов¹¹, о котором ты, в письме к З<аикину> отзываешься чуть-чуть как не о человеке), они возмущают меня. Вы оба, ты и Б<откин>, не поняли моей зависти к скотам: я завидую не офицеру, который идет на бал к барышням, но офицеру, который без рефлексии, в полноте глупой природы своей спешит на бал, где проведет вечер в *самозабвении*, — и я завидую, почему у меня нет способности не на бал ехать, а хоть стихотворение Пушкина прочесть без рефлексии, с *самозабвением*. Ты говоришь, что я ищу в оргиях выхода. Тут две неправды: в оргиях я ищу не выхода, а минутного самозабвения, ищу отрешения не от страданий, а от отчаяния, от сухой, мертвящей апатии. Потом — я не способен возвыситься даже и до оргии — судьба и в этом отказала мне. Разве это оргия <...> и преблагоразумно *рассуждать* о том, как предательски обманчива чувственность: сулит много, а дает — ничего? Против прекраснодушия я уж не воюю. Питер и твой брат Николай заставили меня помириться с ним и полюбить его. Я увидел ясно, что я ниже прекраснодушия и не имею права нападать на то, до чего возвыситься никогда не был в состоянии. Прекраснодушие —

великое, святое состояние духа и в 1000 раз выше моей <...> действительности. Я вижу, что, нападая на Шиллера за его прекраснодушие, я смешивал с Шиллером себя, тебя и Аксакова, с которыми у великого германского духа ничего общего не было и нет. И И. П. Кл<юшников>¹² прекраснодушен был, — однако он, так же, как и мы, не Шиллер: *прекраснодушие* и *призрачность* не одно и то же. Однажды твой брат сказал мне, что он зарезал бы свою любовницу, если б она изменила ему. Я ему ответил, что если б мне изменила страстно и глубоко любимая мною жена, — я и ту бы не только не зарезал, но не оскорбил бы ее ни одним грубым словом, а кротко сказал бы ей, чтобы она выбирала между долгом и любовью, и что в первом случае я обещаю ей мое уважение, дружбу и сострадание, а во втором — мы должны расстаться, чтобы уж не встречаться в сей жизни. Если бы, продолжал я, она избрала последнее, я сам помог бы ей соединиться с тем, кого она любит, и отдал бы ей не только ее, но и свое. Он выпятил глаза и вскричал: как же так? А так (отвечал я), что она не виновата в чувстве, которым повелевать никто не в состоянии; она была бы виновата, если б таила от меня это чувство и была бы в преступной связи; но если б сказала мне о чувстве — поступила бы *comme il faut*¹³. Такой образ мыслей показался Н<икола>ю¹⁴ результатом отсутствия глубоко-го пламенного чувства. Я начал ему толковать, что глубокое чувство спокойно, просветлено, теплится, а не пылает, греет, а не жжет и пр. Результатом этого разговора были его слова: абстрактно я понимаю вас и согласен с вами, но люблю больше горячее, жгучее чувство, — и надобно было видеть, как мило-юношески признался он в этом! Увы! я не имел духа к таким признаниям и бесстыдно наклепывал на себя глубокие чувства и высокие мысли, которые абстрактно понимал, и бесстыдно отрицался, как от сатаны, от чувств и мыслей, менее глубоких и высоких, но вполне доступных и милых мне в то время. Не правда ли, что мое прекраснодушие было самолюбиво, ходульно, полно претензии, а прекраснодушие Н<иколая> здорово, крепко, НОРМАЛЬНО (ненавистное для тебя слово!). Боже мой, какая глубокая, широкая, могучая натура у твоего брата! И сколько здоровья, нормальности, деятельности! Сколько, вместе с тем, задушевности, мягкости, скромности, стыдливости, целомудренности! Какая милая, женственная непосредственность! Это мужчина-лев, гордый, пламенный, могучий, и в то же время это родной брат твоей покойной сестры¹⁵. О, какое глубокое, какое бесконечно глубокое в нем чувство изящного! Я первый открыл в нем этот глубокий, светлый *самородный* родник абсолютной жизни, я развиваю его — и люблюсь, наслаждаюсь

моим делом, я, Мишель, человек, примирившийся с пошлою, повседневною действительностью. Теперь он у меня почти каждый день — не идет — шлю за ним. Он мне необходимее всех в Питере. Может быть, я буду и жить с ним. Я знаю, что я полезен ему, но едва ли он мне не полезнее еще. Мне, т. е. моей дряблости, растленности и болезненности, необходимо присутствие такой юной, свежей, простой, *нормальной* и могучей натуры. Я беспрестанно читаю ему то Гомера, то Шекспира, то Пушкина — и каждый стих отпечатлевается у него на лице. Это меня подстрекает, — и потому для меня наслаждение читать ему, и я всегда читаю ему с необыкновенным одушевлением. Ему понравился парадокс Боткина, будто бы недостаток образования и рефлексии, сохранив полноту и природную целомудренность гения Пушкина, сжал его мирозозерцание и лишил обилия нравственных идей. Я ему сказал, что это, дескать, вздор и чепуха. Мирозозерцание Пушкина трепещет в каждом стихе, в каждом стихе слышно рыдание мирового страдания, а обилие нравственных идей у него бесконечно, да не всякому всё это дается и труднее открывается, потому что в мир пушкинской поэзии нельзя входить с готовыми идейками, как в мир рефлексированной поэзии, и что когда Б<откин> будет поздоровее духом, то увидит это сам. Не только Шиллер, сам Гёте доступнее и толпе и абстрактным головам, которые всегда найдут в них много доступного себе; но Пушкин доступен только глубокому чувству конкретной действительности. И потому петербургские чиновники и офицеры еще понимают, почему Шиллер и Гёте велики, но Шекспира называют великим только из приличия, боясь прослыть невеждами, а в Пушкине ровно ничего великого не видят. Для меня в этом факте глубокая мысль. Чтобы мою проповедь сделать действительною, я схватил «Онегина» и прочел дуэль Ленского, начало 7 и конец 8 главы. Никогда я так не читал: меня посетило откровение, и слезы почти мешали мне читать. Слушатель понимал чтеца, и оба они понимали Пушкина. Я обратил его внимание на эту бесконечную грусть как основной элемент поэзии Пушкина, на этот гармонический вопль мирового страдания, поднятого на себя русским Атлантом; потом я обратил его внимание на эти переливы и быстрые переходы ощущений, на эти беспрестанные и торжественные выходы из грусти в широкие разметы души могучей, здоровой и *нормальной*, а от них снова переходы в неумолкающее гармоническое рыдание мирового страдания. Но лишь толкну Ник<олая> на мысль, как он уже бежит вперед, угадывает, узнает ее во всяком стихе, развивает его так полно и непосредственно, так вдохновенно и чуждо всякой рефлексии, что, право, я ему тут сде-

лал столько же, сколько и он мне. Вот, М<ишель>, прекраснодушие, перед которым я благоговею, вот идеальность, которая есть залог будущей богатой и роскошной действительности! Он понимает действительность, которою окружен, знает цену господам офицерам, но он не смешивает с ними идеи военной службы, любит ее всею душою. Он понимает, что гнусная действительность вне его, а не в нем, и что не она его обгадит, а он ее облагородит в границах круга своей деятельности и своего влияния. Что может быть гнуснее нашей литературы и журналистики, герои которой — Сенковские¹⁶, Гречи¹⁷, Полевые¹⁸, Булгарины¹⁹, Раичи²⁰ и подобные им герои; так неужели, например, я должен поэтому отказаться от литературной деятельности и сложа руки сидеть в идеальной войне с нею? Нет, пока рука держит перо, пока в душе еще не остыли ни благородное негодование, ни горячая любовь к истине и благу, — не прятаться, а идти навстречу этой гнусной действительности буду я. У твоего брата удивительно верный инстинкт и такт действительности: его понятия о ней возвышенны, благородны, пламенны, но и просты и нормальны. Например, он бесконечно глубоко любит своих сестер, для него отрада говорить о них, — и я проводил с ним целые вечера в разговорах о них, и мы не видели, как летело время... Но он никогда не определяет ни меры, ни идеи их достоинства, не рассыпается в похвалах, но скажет только: они такие добрые, такие милые девочки, — и на лице его изобразится умиление, а глаза засветятся тихою слезою... Он любит их не для себя, а для них, и Б<откин>, отнимающий у него сестру, для него так же мил, как и сама сестра. Он не требует от сестер больше того, сколько позволяют требовать вечные и простые законы действительности, — и если б он увидел от них больше, т. е. что-нибудь фантастическое и фанатическое, это глубоко огорчило бы его и заставило бы страдать. Если бы он увидел, что его сестра, любя его, гораздо больше любит своего мужа, — он за это еще больше б полюбил ее, и это сделало бы его счастливее; если же бы он заметил, что его сестра как бы колеблется между мужем и братом, — это заставило бы его тяжело страдать. И потому его глубоко огорчили, в письме Б<откина>, слова, что ты писал к А<лександре> А<лександровне>²¹ письмо, полное враждебности к Б<откину>, и советовал ей вникнуть в свое чувство, ибо-де Боткин отнимет ее от братьев и пр.²² Его радует то, что тебя огорчает, а меня, М<ишель>, радует эта диаметрально противоположность его чувства с твоим. Да, он не в состоянии понять этой идеальности, самолюбивой, эгоистической, холодной, враждующей с вечными законами истинной идеальности, которой действительность есть

осуществление. Он тебя любит — это знаю, но от этого он вдвойне страдает. Твои противоречия приводят его в недоумение. Живя с ним, ты толковал ему о действительности, а расставшись, пишешь к нему против действительности. Ты возразишь, что восстаешь против *моей* действительности; но он знает, что я называю действительностью, так хорошо знает, что уж не поверит тебе. Я не выдаю ему себя за действительного человека, нет: я не скрываю, как ты, от него своих дурных сторон, я говорю ему не о моей действительности, но о той, которой я желал бы для себя. Да, он лучше знает меня, чем ты, и если любить — значит понимать, — о, он любит меня так, как ты никогда не любил меня. Он знает, что я не хочу быть статским советником и нажиться службою или взятками. Не раз случалось, что я останавливал его удивление ко мне, тотчас обнажая ему задняя славы моя, и очень невыгодно для себя сравнивал себя с ним: надо видеть эту мину какого-то изумления, в которое его это приводило. Чем более узнаю я его, тем более люблю и тем более уверяюсь, что порешь дикий и бессмысленный вздор, говоря, что простота, нормальность и полнота натуры свойственны только скотам и пошлякам. Не худо бы и нам с тобой, М<ишель>, походить на этих скотов и пошляков: право, мы были бы лучше. Меня, М<ишель>, не умаслишь похвалами моей глубокой субстанции и прочих вздоров, меня не уверишь, что я страдаю от того, что теперь всё человечество страдает: что общего между мною и человечеством? Я не сын века, а сукин сын. Я понимаю страдания какого-нибудь Страуса, которого всякое мгновение было жизнью в общем (не в абстрактном и мертвом, а в конкретном) и было жизнью деятельною: это человек великий, гениальный²³, моей ли роже тянуться до него — высоко, не достанешь. Я страдаю от гнусного воспитания, от того, что резонерствовал в то время, когда только чувствуют, был безбожником и кощунном, не бывши еще религиозным, толковал о любви, когда еще <...> сочинял, не умея писать по линейкам, мечтал и фантазировал, когда другие учили вокабулы; не был приучен к труду, как к святой объективной обязанности, к порядку, как единственному условию не бесплодного труда, а сделавшись сам себе господин, не приучал себя ни к тому, ни к другому, не развил в себе элемента воли. Ко всему этому присоединилась несправедливость судьбы, глубоко оскорбившая во мне самые священные права индивидуального человека; к довершению всего, рефлексия отравляет даже и те немногие минуты святого самозабвения в живой и полной любви, блаженства и страдания *Allgemeinheit*²⁴, которые еще посещают меня при наслаждении искусством, при чтении Евангелия и в по-

лете фантазии. В людях я вижу или друзей, или враждебные моей субъективности внешние явления, — и робок с ними, сжимаюсь, боюсь их, даже тех, которых нечего бояться, даже тех, которые жмутся и боятся меня. Да, мне ничего не остается, кроме участия хоть одного человека, который выслушает любовно и елебно мои *конечные и частные* страдания и ответит на них ласковым словом, без диссертаций и рецептов для выхода. Логикой немного возьмешь, М<ишель>. Я это давно уже знаю по бесплодным усилиям растолковать тебе, что $2 \times 2 = 4$.

И ты приглашаешь меня помириться с таким состоянием и смотреть с презрением на всех здоровых и нормальных духом? И ты это называешь идеальностью? Нет, М<ишель>, человек не машина — рычаг его движения в нем, а не вне: пусть себе всякий идет своим путем — кто спасается — спасайся, кто погибает — не мешай ему погибать. Может быть, и я еще проснусь и воскресну для жизни; да, может быть, только уже верно не вследствие логически написанного письма.

Твоя идеальность выключила всю материальную сторону жизни: ты ни минутой не хочешь пожертвовать для денег. Моя действительность этого не допускает: она велит мне читать пакостные книжонки досужей бездарности, писать об них, для пользы и удовольствия почтеннейшей расейской публики, отчеты, а при этом чтении и писании не до знания и не до немецкого языка. А там еще геморрой — голова болит, поясницу ломит, тошнит, руки и ноги трясутся. Ты знаешь два языка, основания которых узнал в детстве, ты моложе меня, у тебя железное здоровье — перед тобою широкая дорога, в душе у тебя, как говорит Б<откин>, много полету — иди и лети к своей цели; но только помни, что — достигнешь, и первый с жаром буду тебе аплодировать, срежешься — громко засвищу.

Ты упрекаешь меня в нападках на наш кружок, говоря, что прежде он был лучше и что теперь его уже нет. Я рад этому. Всякое теперь есть осуществившееся прежде. Мы не друзья теперь, говоришь ты с грустью, а только приятели: но были ли мы и тогда друзьями? Основа нашей связи была духовная родственность — правда; но не вмешивалось ли сюда и обмена безделья, лени, похвал, т. е. взаимнохваления и т. п.? По крайней мере я очень хорошо помню, что с тобою мы разъехались с того самого времени, как начали стряхивать с себя твой гнетущий авторитет и осмелились, в свою очередь, и говорить тебе правду и учить тебя. Тебе не понравилась эта метода взаимного обучения — ты всегда хотел быть прав и никогда виноват, ты как на дерзость смотрел на то, что прежде делал с нами. Кто ж виноват, М<ишель>?

Но я — от души рад, что нет уже этого кружка, в котором много было прекрасного, но мало прочного; в котором несколько человек взаимно делали счастье друг друга и взаимно мучили друг друга. Наконец дети выросли, поумнели, жизнь их начала учить уму-разуму. Вот и я с Б<откиным> переругался, — и теперь благодарю судьбу за эту жестокую ссору. До нее я на Б<откина> смотрел, как на абстрактное совершенство, но она показала мне, что и он человек и в нем много дурного. Я на это рассердился, как будто владел монополией иметь много дурного. Я ощутил к Б<откину> жесточайшую ненависть, какой ни к кому не питал, к какой даже и не подозревал себя быть способным, хотя и давно знал себя, как зверя. Мы наделали друг другу пакостей — это была дань духу нашего кружка; пакостнейшая из этих пакостей была та, что в тайны семейной ссоры мы посвятили чужих людей²⁵. Но что ж? Всё это послужило только к тому, чтобы доказать нам, что мы не просто приятели, а нечто побольше, и что связь наша только более скрепилась от того, от чего все связи разрываются. Я уехал в Питер. Внутренние страдания мои обратились в какое-то сухое ожесточение: для меня никто не существовал, ибо я и сам для себя был мертв. Наконец Б<откин> снова воскрес для меня. Полтора месяца писал я к нему, полтора месяца душа моя рвалась к нему и всякая сколько-нибудь теплая минута неразрывно связывалась с тоскливою думою о нем. Я ощущал его в себе, мне казалось, что каждая капля крови моей полна им. И что же? посылаю к нему письмо; а дня через два получаю от него:²⁶ мы сошлись в потребности говорить друг с другом, сошлись, не сговариваясь. В каждой строке его, в каждом слове я видел, чувствовал, что такое для меня этот человек и что я для него. Получаю от него ответ на письмо мое — начинаю читать — нет, у меня нет слов, чтобы выразить это впечатление. Я был и взволнован, и восторжен, и умилен, и вместе с тем — поражен и изумлен: я никогда не мог предполагать в человеке столько любви и такой любви, — и что ж? Эта любовь ко мне. Я тотчас же сказал Языкову²⁷, что после этого стоит жить и страдать, и что большего требовать от дружбы невозможно. Действительность победила фантазию. Да, М<ишель>, скажи — ты ведь читал это письмо — что же это такое, если не дружба, если не святое и великое таинство дружбы? Чего же еще желать, чего требовать? Тут передо мною воскресли все жертвы этого человека для меня, всё, что он для меня делал и что я так мало ценил. Скажи же мне, есть ли мне причина жалеть о прежнем кружке, где я столько имел, не зная, что столько имею? А теперь я знаю, что не одинок я в мире, что есть у меня с жизнью живая, кровная

связь — есть пламенное, высокое и благородное сердце, где я всегда безвыходный гость, куда я всегда смело могу постучаться, чтобы получить утешение в страдании, сложить тяжелое бремя мук жизни и снова полюбить жизнь. Если в этом частном явлении есть *общее*, — то я благоговею пред этим общим и поклоняюсь ему. Апостол Иоанн сказал: «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавижу, — тот лжец: ибо не любящий брата своего, *которого видит*, как может любить Бога, *которого не видит?*» Я чувствую, что могу любить *невидимого* Бога только в *видимых* явлениях. К этому, у меня есть убеждение, что я не могу не увидеть Бога ни в одном явлении, где только Он является. Вся жизнь моя есть оправдание этого убеждения: я увидел Ст<анкевича> и полюбил Бога, увидел твоих сестер и полюбил Бога; я люблю его и в любви Б<откина> к твоей сестре и жалею, что ты еще так неясно видишь его в этом явлении.

Но довольно. Письмо мое, сверх ожидания, вышло гораздо длиннее, чем предполагал я, начав его. Не сердись, М<ишель>, за жесткий тон: ты сам вызвал меня, забыв прошедшие опыты. Кто же виноват, что ты так мало меня знаешь, хотя и давно со мною знаком. Повторяю тебе, если бы я и рожден был для знания, если бы мне и суждено было выучиться по-немецки, — то писем, подобных твоему, достаточно, чтобы отвратить меня от того и другого. Так уж я создан — такая моя натура: рассуждение никогда и ничего мне не доказывает. Я же от тебя давно уж это слышал. Все твои письма — одно и то же, и это «одно и-то же» превратилось у тебя в общие места. Это производит пренеприятное впечатление. Брат твой говорил мне, что он всегда с жадностью хватался за твои письма, но прочтя, ничего не понимал и вместо радости ощущал какое-то неудовольствие. Жизнь — враг книги. Книга хороша в книге. Притом же, тащить за собою — система самая ложная. Иди своей дорогою, оставляя других идти своею. Мне кажется, главнейшая ошибка всей твоей жизни, ошибка, которая делает тебя так тяжелым для других, — есть та, что ты несколько не призван действовать на других своею индивидуальностью, а между тем считаешь себя призванным именно на это. Тебе не терпится, что другой думает и делает не по-твоему. Ты начинаешь читать «Ричарда II»²⁸ с тем, чтобы раскрыть святая святых этого великого создания другим; но читать ты не умеешь — поэзия мрет в устах твоих — «Ричарда» не понимают — ты бесишься и оскорбляешь человека так, что он никогда этого уже не забывает. Поверь мне, что такая идеальность хуже всякой действительности: она профанирует, губит самое себя в глазах других. Что я перед тобою в мысли? —

ничто, а если и есть что-нибудь, то благодаря тебе же. И что же? Я говорю — меня слушают, понимают, мне верят, и я во многих успел возбудить уважение к философии, которой не понимаю, — и слышавшие тебя с какою-то радостью уверяют меня, что лучше тебя это понимаю.

Прощай, М<ишель>. Еще раз, не сердись. Желаю тебе уехать в Берлин, желаю от всего сердца, чтобы ты сумел овладеть собою и прожить на 2000 р. в год, чтобы ты вполне достиг своей цели. Но только тогда и поверю действительности твоего стремления. Что делать? С тех пор, как я увидел свою нищету, ничтожество, дряблость, бессилие, — я уж не верю *словам*, а верю только *делам*, фактам. Только слово, осуществляющееся в жизни, — для меня живое и истинное слово. Сбудется то, к чему ты стремишься, будущее делается настоящим, — может быть, *тогда* твой пример будет для меня полезен, а пока...

В ожидании — жму твою руку.

Белинский.

